

Марию де Карвалю

Берберберщина

Как-то раз на выходе из Журавельникова проулка с Кином Амбрóзиу случилась история.

Кин был сантехник, мастеровитый и покладистый, и в нашем районе всегда желанный гость. Имел, однако, досадную черточку — тарактел, как боевой барабан. Пожелай только ему доброго утра или доброго дня — и Кин опять за свое: пересказывает целые биографии, толкает локтем, хватает за полу, машет руками, что твой семафор, рисуя некие фигуры. Прервет его кто, завладеет жертвой — ерзает, мнетя, разглядывает облака. Набравшись духу, тихонько напоминает о себе свистом, а стоит лишь замолчать, продолжает ровно с того места, где перебили.

Когда же ухитришься вставить «до встречи», Кин едва ли не бледнеет от страха, что не успел выложить всё, чем хотел поделиться. Вяло салютует ладонью, облизывает губы, снова поднимает руку — и та зависает в воздухе. Чешет голову, трясет ею и наконец исчезает, недовольный и опечаленный.

Вот так выходил Кин однажды из Проулка, сунув руки в карманы, обмозговывая, что б еще осветить во всех деталях Полжозé (Полжозе был его любимый собеседник — удрать от Кина не мог при всём желании). И попал в историю.

Какая-то черепица под весом налепленных ласточками гнезд — кляц! — рухнула вниз и — бабах! — угодила Кину в голову. А тот ничком повалился на землю.

Само собой, крик подняли — не хуже сарацин. И Кина отвезли в больницу. Вернулся он своим ходом и в диковинной чалме из бинтов. Но когда люди его спросили:

— Ну что, Кин, как делишки?

Кин ответил вот что:

— Оби, оби, тагарик бослуа. Нэмэмэд кванталик.

От этакой загадки каждый наморщил лоб. А он всё тараторил, махая что есть мочи руками, и белиберда его лилась без запинки, гладко, словно связная речь.

— Согруб миззарин, так катаплак, мисуруру тапаик и т.д.

Так он разглагольствовал не меньше трех четвертей часа. Что особенно всех изумило, Кин, казалось, отвечал на заданные вопросы, не теряя нити разговора, — только на своем чудном языке.

Поставили простой опыт.

— Не беспокоят ли, — спрашивают, — почки? (его обычная хворь).

Кин тут же:

— Нек, нек солимадор каразак, — и берется за бока.

— А что это у тебя там сзади висит?

— Груват? — переспрашивает Кин и нервно оглядывается на шлицы своего пальтишка.

И для верности:

— Смотри, вон там в окне наверху бабенка строит тебе глазки.

И Кин вертит головой, задрав нос.

Дело ясное: разуметь Кин всё разумеет, а говорить по-португальски не может. Зато научился невесть по-какому.

— Ого-го! — воскликнул Полжозе. — Вот это, скажу я вам, катавасия! Шиворот-навыворот и полный переворот.

Шли дни, а Кин по-прежнему бился, словно рыба об лед, у всех на виду, рассказывая свою жизнь встречному и поперечному на тарабарщине, ни единому человеку не понятной.

Однажды витийствовал он в глубине Проулка над бедным Полжозе, который с кислой миной, скривив рот, повторял: «Ну да, ну да», когда Жозе Трамвайного озарило. Тот играл в орлянку с Андраде Луноедом и Вонючим Важем — прозванным так за то, что никогда не мылся.

— А если разузнать, в каком краю на киноском шпрехают, и послать его туда? Деньги собрали бы в газетах по подписке...

— И выдумаешь же пакость! — отрезал Вонючий Важ. — Чего ему шляться на чужой стороне? Где родился, там и пригодился.

— И вот еще что, — добавил Андраде, позванивая монетами в руке, — там-то Кин всё расскажет, а втолкуют ли они ему что-нибудь, поди угадай. Ведь по-нашему он-то всё понимает...

Однако Жозе изучал носки своих сапог, нахмутив брови, как человек, погруженный в глубокие размышления. Затем поднял указательный палец и произнес:

— Знаю! Кин такой сделался оттого, что получил по голове, верно или нет?

Верно, тут не поспоришь.

— А досталось ему по левому виску, так было или нет?

Именно так и было.

— Ну вот! — торжествует Жозе, широко разводя руки в стороны. — Теперь надо врезать Кину по правому виску. Авось поправится.

Остальные согласно закивали. Разумно, хоть и немного рискованно. Слишком сильным выйдет удар — навредишь, слабо стукнешь — не будет проку.

Сомнения развеял Андраде — медленно, замолкая после каждого слова. Подобрать точно такую же черепицу и бросить оттуда же, откуда упала первая, только в другой висок. Таким образом, рассчитывать ничего не требовалось, лишь бы попасть.

Тогда все трое пошли обхаживать дядю Боржеша — в былые годы он редко промахивался камнем по рюхе, но желанного признания не получил и потому рад был обратить свое искусство на пользу ближнего.

Приманкой для Кина выбрали Полжозе. В глазомер дяди Боржеша тот не верил и уступил, только когда троица пригрозила запереть его вместе с Кином на целый вечер в Доме черных кошек.

— Ладно, ладно, — соглашался он. — Но если плитка мне в башку прилетит, вы раскошелитесь, да?

На другой день (а это было воскресенье) три хищника проползли по крышам и заняли позицию над домом галантерейщика. Полжозе, установленный на определенной для него точке, кликнул оттуда Кина:

— Кин, а Кин! Иди сюда, старик, расскажи еще раз, как беда стряслась, а?

Кин подлетел к нему, просияв, и тут же начал:

— Раснейго сарават мириоша...

Дядя Боржеш, которого держал за ноги Жозе Трамвайный, торчал над карнизом и подавал сигналы. Кося одним глазом на врача, а другим — на пациента, что подробно излагал свою историю, Полжозе никак не мог направить последнего на операционный стол. Он придвигал свою тележку, отводил на шаг, поворачивал на столько-то градусов, а Кин повторял за ним и как будто искал в его взгляде ежесекундного одобрения.

С крыши движения этой пары казались диковинным танцем из множества мелких па. Не один раз Кин ступал на точку, где мелом заранее поставили крест, однако не давал дяде Боржешу времени для верного прицела.

Тогда Полжозе заорал:

— Да погоди ты! Разве не слышишь?

Кин замер и наострил уши. Момент настал.

Вверху дядя Боржеш повертел в руках черепицу, прищурил один глаз и — трах! — запустил её Кину точно в правый висок. А тот упал без чувств.

— Уф! — сказал Полжозе, обтирая с лица пот.

Скорая не заставила себя ждать, и Кина увезли в реанимацию под завывание сирены.

После обеда Кин уже подходил к Проулку и голова его вновь была обмотана бинтами. Вокруг него тут же собрались люди:

— Ну что, Кин, поправился? Здоровье теперь поди богатырское, да?

Лицо Кина внезапно посерело от страха и он ответил:

— Карамба, ничего не понимаю из вашей болтовни. Вы издеваетесь, что ли?

Троица придумщиков клин клином вышибать сперва было ликовала — ведь Кин снова заговорил по-португальски, — но вскоре пала духом. На этот раз Кину ничего не могли объяснить остальные, как будто дружно перешли на иноземное наречие.

Спрашивают его, к примеру:

— Как дела, Кин?

А он слышит:

— Совонов, Кин?

Или вот:

— Так что, у тебя там еще болит?

А ему чудится:

— Совонов габайт нейд зва?

Пока сбитые с толку люди окружали Кина, а тот, нахмутив лоб, гневно их отчитывал, Жозе Трамвайный и Андраде в смущении удалились.

Андраде всё же набрался отваги:

— Послушай, а что если врезать ему еще раз, прямо посередине затылка? А вдруг вышло бы...

— Замолкни! — ответил Жозе. — Хорошо бы никто не проведал, что тут приключилось. А то мало ли что.

И Кин понемногу стал привыкать к языку жестов. Кто ничего не знал, принял бы его за глухонемого.

Алисе Виейра

Теплый супчик

У моей тетушки Клары всю жизнь было золотое сердце. Сколько её помню, она то и дело стремилась кому-нибудь помочь и о чем-нибудь порадеть. Иногда монахини приносили в дом полотняные простыни и салфетки и тетя их покупала — вышивали ведь «бедные сиротки», — пропуская мимо ушей ворчание дяди Эрнесту, старого республиканца, социалиста и богоборца, который упорно указывал ей на истинный путь к общему благу.

Раз в месяц тетушка Клара садилась на кухне за стол и откладывала деньги, предназначенные девочкам из приюта, неимущей Белмире, что стучала ей в дверь каждую среду, местной конференции святого Венсана де Поля (на бедняков), троюродной, если не путаю, сестре, ужинавшей у неё по воскресеньям, каждой из семнадцати крестных, которые ежемесячно, по первым числам, заходили к ней за благословением и, если можно, какой-нибудь мелочью. Не говоря о тех деньгах, что по её поручению я клала в гипсовую статуэтку — златовласый мальчик и негритенок, на чей затылок надо было нажать, открыв прорезь для монет — всякий раз, когда уродливая конструкция с призывом подать на миссии попадалась нам на глаза.

Времена меняются и горести теперь другие, но золотое сердце тетушки ничуть не потускнело. Она жертвует на Банк помощи голодным, на ЮНИСЕФ, на «Детские деревни SOS», на «Врачей без границ», на Красный Крест, на детей Мозамбика. И никогда не забывает купить журнал организации «CAIS». Стоит ей включить по телевизору новости, спокойствию конец. Покажут лишь репортаж о закрытой фабрике, увольнении, выдворении из квартир или как день за днем выживать на нищенской пенсии, и тетушка — желая добра всем без разбора — неумоимо звонит на всевозможные и всеневозможные номера узнать, что делать и чем пособить. А по ночам её беспрестанно терзают кошмары.

Вот и на днях вижу, как она семенит взад-вперед по коридору и причитает: «Ах, бедняжки!» Ничего не понимаю — неужто закрыли еще одно предприятие? Выгнали с работы целый коллектив, а я это проспала? Рухнуло еще одно ветхое здание в нашем приходе? Она не отвечала, повторяя, словно в бреду, свое «Ах, бедняжки!» — пока её не прорвало. Боже правый, мы и подумать не могли, до чего докатились! Прочла интервью с одним высокопоставленным лицом — не скажет, само собой, как его звали,

**Сергей Лунин**

всегда плохо запоминала имена, но чин и впрямь немалый. И вот это лицо утверждает, что многие депутаты и министры — ах, бедняжки! — упускают тьму возможностей и переживают невзгоды вследствие самоотверженного труда на благо Родины.

Вот, значит, какой монетой Родина им платит, да? Тетушка Клара пыхтя, вытерла рукой лоб и дважды прыснула в рот из баллончика от астмы. Она с этим не примирится.

Депутаты и министры живут на гроши и не знают, купят ли молоко детям, позволят ли каждый день семье фрукты. На депутатов и министров косо смотрят домовладельцы, зато к врачам и массажистам они давно не ходят. И все прочие беды, какими непременно сопровождают по телевизору рассказы о лишениях.

Нет, она никогда не поддается предрассудкам — тем более, если надо прийти на помощь ближнему.

Когда я прощалась, она сидела в кабинете и писала во дворец Сан-Бенту, уведомляя господ депутатов, что для них в её доме в любое время найдется тарелка теплого супчика и стаканчик молока. Пусть крохи — зато от чистого сердца. По меньшей мере голодная смерть им уже грозить не будет и хоть немного, но прибавится сил для их нелегкого дела, спасения Отечества.

Гонсалу М. Тавареш

Монета

Музыку не пишут по инструкции, по инструкции не болят. Плоть груба и попирает наши законы, а мы бесплотны, когда живы и богаты. Но мы — плоть, когда стареем, и плоть, когда болеем. И когда умираем, мы тоже плоть.

И обнищать — тоже предаться плоти, поддаться беззаконию музыки и твари. Тьма пугает, превращает в труса. Ты прячешь детей за спину и знаешь, что ими прикрываешься.

Говорят, Люцифер падал девять дней, но такой полет никого не пугает. Какое это низвержение? Это прогулка, девятидневная командировка — вот и летел он чинно: в костюме, при галстукке, без малейшего неудобства. Разъезжает по улицам и выглядит плотью того, кто взошел сюда, а не пал — только на девятый день, говорят, черт таки шмякнулся.

Злобу не отличить, как не отличить близняшек, что идут рука об руку в школу, в платьицах, одинаково синих. Злобу не метят клеймом на лбу, как метит больных коров хозяин:

— Эту забить, не продавать.

Болезнь издалека видна и нищета видна, а злоба не видна. У дурнушек на лбу клеймо.

Бродяга просил милостыню у светофора. Переходил от одной машины к другой, потом еще другой. В одной приспустили окно, бросили на землю ценную монету и сразу на газ, ведь загорелся зеленый. Нищий нагнулся подобрать и машина, где видели только светофор, его сбила. Врезалась на полном ходу, сломала бедро.

Когда его выносили с дороги на носилках, никто не понял, зачем бродяга выставил палец. Язык его не слушался.

— Кто-нибудь его знает? Он и раньше был нем?

Он указывал на монету посреди дороги. Никто не угадал, и его увезли.

(Химия не изучает перемен в материи, если эта материя — наше тело в момент объятий.)

Три месяца спустя, когда его выписали, он хромал и не говорил ни слова. Никто не сказал бы, беда его искалечила либо он и раньше отвечал одним лишь безумным



взглядом — никто ведь его не знал. (Никто не поручился бы, что он раньше был в своем уме. Теперь точно нет.)

В тот же день он пришел на место происшествия — монета всё еще лежала посреди коварной дороги. Он сунул её в карман. Подлетела машина, он отскочил на тротуар. В безопасном месте нежно поглаживал монету пальцами.

Из машины, которая едва не сбила его снова, какая-то женщина крикнула: «Чокнутый!» Но он, безумец, был счастлив.